

— Ты хочешь смерти мамы?! Хочешь, чтобы мы погибли вместе?!

Цзян Цзя смотрел на мать, которая билась в истерике и горько плакала. Взгляд его оставался холодным и ясным, он слегка покачал головой, а голос его прозвучал тихо-тихо:

— Мама, я не хочу умирать. И смерти мамы я тоже не хочу. Я просто... увидел.

Цзян-ши закрыла лицо руками и зарыдала навзрыд:

— Даже если увидел — молчи! Схорони это на самом дне желудка! Зароси в сердце! Навеки, никогда больше не смей об этом заикаться!

— Запомни раз и навсегда: не смей смотреть на небо, не смей смотреть на звёзды, не смей смотреть на ци! Не смей разбираться в законах неба и земли, не смей разбираться в удаче и бедах, не смей разбираться в смутах и порядке!

— Ты должен стать самым обычным, самым тупым, самым бесчувственным, самым незаметным ребёнком!

— Пусть над тобой смеются, что ты тупица, дурак и олух — всё сноси! Всё терпи! Притворяйся!

— Спрячь свою смыслённость! Спрячь свою одарённость! Спрячь свою пронизательность! Завяжи глаза! Закрой своё сердце!

— В это смутное время мы не стремимся выбиться в люди, не стремимся превзойти всех умом, мы просим лишь об одном — выжить! Просим лишь о том, чтобы жить в безопасности и покое!

Цзян Цзя молча смотрел на мать и легко кивнул. Его голос был холодным и твёрдым, и каждое слово он впечатал в самое сердце:

— Мама, я запомнил.

— Я не смотрю, не говорю, не понимаю, не показываю виду.

— Я буду тупицей, дураком, бесчувственным мальчишкой.

— Скрою всё ради того лишь, чтобы выжить, ради того, чтобы быть рядом с мамой.

Цзян-ши прижала его к себе и горько зарыдала, слёзы промочили её одежды. Страх и жалость сплелись воедино, едва не лишая её дыхания:

— Хороший мой мальчик... послушный... как же тяжело тебе приходится... поистине тяжело...

С этого дня Цзян Цзыя полностью изменился.

Он по-прежнему целыми днями ходил с матерью в поле, всё так же топтал босыми ногами грязь, всё так же был близок к травам, деревьям, насекомым и зверям, оставаясь добрым и не убивая живых существ, однако сделался совершенно молчаливым, почти лишившись речи.

Когда кто-то обращался к нему, он лишь опускал голову — то качал ею, то кивал, а в худшем случае издавал глухое «мгм», не произнося в ответ ни единого лишнего слова.

Его взгляд становился всё более холодным и отрешенным, он привык с холодным презрением наблюдать за всем миром: как деревенские смеются и ругаются, как дети резвятся и затевают драки, как соседи бранятся из-за пустяков, как на полях собирают богатый урожай или терпят неурожай, как сменяются ветер, дождь, пасмурные дни, жара и холод — он смотрел на всё это молча, не выдавая ни единого движения души, не испытывая ни печали, ни радости, ничего не комментируя и не обсуждая, словно посторонний, словно праздный зевака.

Озарённость, смыслённость, пронизательность и острота ума, что прежде светились на самом дне его глаз, были глубоко спрятаны, не выдавая и проблеска наружу. С виду он и впрямь превратился в тупого, бесчувственного, молчаливого и заторможенного деревенского паренька — пожалуй, даже более молчаливого, незаметного и не привлекающего к себе внимания, чем остальные дети.

Деревенская детвора по-прежнему насмехалась над ним, дразнила его, обзывая тупицей, немым и помешанным на траве.

— Немой! Тупица! Говорить не умеет, только на травку пялится!

— Нищий сопляк! Бестолочь! Никто с тобой играть не станет!

Ребятишки швыряли в него комья грязи, бросали стебли травы и, обступив со всех сторон, улюлюкали и потешались.

Цзян Цзыя пропускал всё мимо ушей и делал вид, что ничего не замечает. Он всё так же тихо сидел на меже, глядя, как муравьи переносят свой скarb, как порхают бабочки и как полевые мыши ищут пропитание. Выражение его лица оставалось спокойным, в нём не было ни гнева, ни досады, ни скорби, ни печали.

Заметив это издали, Цзян-ши чувствовала, как её сердце разрывается от боли. Она быстро подбегала, заслоняя его собой, и тихо говорила детям:

— Не обижайте его, пожалуйста. Он просто медлительный и не любит разговаривать.

Дети с шумом разбегались в разные стороны.

Императорская Звезда тускнела, Поднебесную ждало смутное время.

Он всё это увидел, запомнил, спрятал в глубине души и запечатал уста.

С той поры в мире стало на одного одарённого свыше вундеркинда меньше и на одного молчаливого деревенского ребёнка больше.

Время летело стрелой: зима уступила место весне, в полях и горах проклюнулись ростки, оттаяли ручьи, и Цзян Цзя исполнилось пять лет.

Пережив прошлогоднее потрясение со словами «Императорская Звезда тускнела, Поднебесную ждало смутное время», Цзян-ши ночами часто просыпалась в ужасе и, протянув руку, лишь нащупав мирно спящего рядом ребёнка, могла немного успокоиться.

Весь этот год она больше не смела задерживаться с Цзян Цзя на глазах у односельчан: отправляясь на полевые работы, она либо оставляла мальчика сидеть на самой дальней меже, либо заблаговременно отводила обратно в хижину, позволяя ему только сидеть там в тишине и запрещая произносить хоть слово с посторонними.

И Цзян Цзя честно держал слово, превратившись в глазах соседей в «дурачка из семьи Цзян».

Днём, пока ребятня с шумом носилась на деревенской окраине, лазила по деревьям разорять птичьи гнёзда или ловила рыбу в речке, и гулкие голоса оглашали всю округу, он лишь тихо-мирно сидел на пороге хижины — то опустив голову, тербил стебли травы под ногами, то подолгу глядел на паутину в углу крыши, не шевелясь и не говоря ни слова, и мог просидеть так час или два.

Если кто-то проходил мимо и заводил разговор, он либо понутив голову молчал, либо едва заметно кивал, скупясь даже на полноценный ответ. Со временем даже самые любящие почесать языки женщины поленились обращать внимание на этого ребёнка, чьё молчание было почти абсолютным, делая его почти невидимым.

Цзян-ши видела всё это, и сердце её обливалось кровью.

Она знала, что её мальчик вовсе не глуп — напротив, он обладал редкостной в этом мире пронизательностью и острой мыслью. Но в такие смутные времена ум становился причиной бед, а пронизательность — смертельным орудием. Лишь спрятав все свои острые грани и прикинувшись тупым и заторможенным, можно было выкроить себе жалкую крошку жизни в этом шатающемся от бурь мире.

Ранней весной этого года Цзян-ши приняла решение.

Хотя её происхождение было скромным, в своё время она всё же выучила у старших несколько древних знаков — это были передаваемые из глубокой древности гадательные надписи на костях и надписи на бронзе. Черты их отличались сложностью и прихотливостью, они изгибались подобно клинкам, были темны и трудны для понимания, и обычному деревенской ребёнку не то что не осилить их прочтение, но даже срисовывая, за три-пять дней едва ли научишься выводить хотя бы один целый знак.

Цзян-ши думала о том, что мальчик целыми днями сидит без движения и смотрит в пустоту, это слишком тоскливо. Вместо того чтобы позволять ему предаваться праздным мыслям или ненароком проболтаться о небесных тайнах, лучше научить его грамоте, почитать ему обрывки древних свитков: это и время поможет скоротать, и даст пищу его сердцу, избавив от необходимости сутками томиться в тишине.

В то утро, когда расселся утренний туман и солнце стало мягким и теплым, Цзян-ши прибрала в хижине и достала из угла за циновкой свёрток потрепанных донельзя бамбуковых планок. В своё время она подобрала их в заброшенной старой избе: углы были стёрты, планки растрескались, а на них были вырезаны кривобокие древние письмена, большей частью совершенно стёршиеся — различить удавалось лишь несколько строк.

Она ласково поманила сына, и голос её звучал мягко, словно весеннее тепло:

— Яэр, подойди к маме.

Цзян Цзыя сидел на корточках в пыли и тонкой палочкой расчищал дорожку для муравьев. Услышав зов, он сделал несколько быстрых шагов и замер, опустив руки:

— Мама, зачем звала?

Цзян-ши усадила его рядом с собой на циновку и разгладила на коленях старые бамбуковые планки:

— С сегодняшнего дня мама станет учить тебя грамоте. Это письмена на костях и бронзе, учиться им очень тяжело, ты не спеши, будет достаточно и одного знака в день.

— Мама учит, значит, я учусь.

Цзян-ши указала на один из знаков на планках и принялась медленно выводить его пальцем, черта за чертой:

— Этот знак — солнце. Он изображает светило в небе, круг с сиянием внутри, что освещает всё живое. Посмотри-ка на эту форму.

Цзян Цзыя взглянул на ясное небо за окном, затем опустил глаза на вырезанные черты и тихо промолвил:

— Мама, я запомнил.

Цзян-ши на миг замерла, а затем с улыбкой потрепала его по макушке:

— Не хвастайся понапрасну, посмотри ещё три раза, смотри не перепутай.

Цзян Цзыя послушно взглянул ещё раз, взял обугленный кусочек древесного угля и легко провёл по земле. Ни единой лишней черты, ни единого изъяна — знак получился точно таким же, как на бамбуковой планке. Цзян-ши широко раскрыла глаза, охваченная глубоким потрясением, и на какое-то время лишилась дар речи.

Подавив бушующую в груди бурю и придав лицу спокойное выражение, она указала на следующий знак:

— А это — луна. Похожа на серп ночного светила.

Не успел ее голос затихнуть, как на земле уже красовался чёткий, естественный и плавный знак луны, без малейшей запинки.

Дыхание Цзян-ши на мгновение сбилось. Она подряд указала ещё три знака:

— Гора, вода, человек.

Стоило ей произнести эти слова, как на земле появились три аккуратных древних знака. По своей форме они были архаичны и несли в себе всю полноту первозданного духа, выглядя даже ровнее, чем те, что выводила она сама. Цзян-ши завороченно смотрела на них, чувствуя, как защищало глаза — в её сердце смешались радость и страх.

Она торопливо прижала руку Цзян Цзыя:

— Яэр, то, что ты так быстро учишься грамоте, радует маму, но об этом ни в коем случае нельзя рассказывать чужакам.

Цзян Цзыя поднял голову:

— Мама, я понимаю, чужим не скажу.

— Если кто-то спросит, говори, что вовсе не знаешь грамоты и даже собственного имени

написать не умеешь, — наставляла Цзян-ши, чеканя каждое слово. — Притворяйся, что учишься с большим трудом, то и дело делая ошибки, изображай неуклюжего увальня, чтобы никто не заметил, что у тебя память на лету, понимаешь?

Цзян Цзыя легко кивнул:

— Понимаю, буду притворяться, что ничего не умею, чтобы не привлекать к себе внимания.

Цзян-ши тяжело вздохнула, ощутив горечь в груди:

— Как же тяжело тебе приходится, сынок. Других детей хвалят за любые проявления таланта, и лишь тебе одному нужно прятать свои способности и прикидываться глупым.

Цзян Цзыя отложил уголь, протянул руки и обнял мать за плечи. Его голос прозвучал мягко, но твёрдо:

— Мне не тяжело. Лишь бы быть рядом с мамой и жить в мире и покое — вот и всё, что нужно.

С этого дня чтение и письмо стали для Цзян Цзыя самым тайным и глубоким утешением.

Сама Цзян-ши знала не так уж много иероглифов — едва ли наберётся сотня с небольшим, да несколько обрывков древних канонов. Она думала, что этого с лихвой хватит на год-полтора обучения, однако не прошло и дня, как Цзян Цзыя полностью уснул весь этот запас.

Днём Цзян-ши учила его тридцати двум знакам из гадательных надписей и надписей на бронзе, подробно объясняя происхождение и смысл каждого — от неба, земли, солнца и луны до трав, деревьев, насекомых и рыб. Цзян Цзыя достаточно было услышать лишь раз и взглянуть на насечки, чтобы навсегда впечатать их в память: он безошибочно воспроизводил их по памяти без единой помарки, читал вслух без малейших запинок и даже умел проводить аналогии, связывая несколько знаков в плавные и стройные короткие фразы, намного превосходящие уровень пятилетнего ребёнка.

Во время дневного отдыха Цзян-ши с замиранием сердца пыталась проверить его:

— Яэр, ты действительно всё запомнил? Неужели не забудешь?

Цзян Цзыя опустил ресницы:

— Запомнил. Стоило увидеть — и это запечатлелось в сердце, забыть невозможно.

Цзян-ши помолчала немного:

— Тогда мама проверит тебя еще раз: напиши те восемь знаков, что мы учили вчера.

Цзян Цзыя, не задумываясь ни на секунду, принялся чертить углем, и знаки легли в ряд один за другим, причем в абсолютно верном порядке. Внутри Цзян-ши всё трепетало от изумления, но ей пришлось подавить эмоции и тихо сказать:

— Впредь не пиши так быстро и так красиво. Специально делай пару ошибок в чертах, пиши медленнее, делай вид, что тебе трудно думается, поняла?

— Понял, — отозвался Цзян Цзыя и тут же нарочно замедлил движение, криво и косо выводя на земле знак горы, прибавив лишнюю черту и пропустив изгиб — он вышел донельзя неуклюжим, резко контрастируя с тем плавным течением, что было только что.

Цзян-ши смотрела на это, едва не уронив слёзы:

— Хороший мой мальчик, ну до чего же послушный.

С тех пор днём Цзян Цзыя учился грамоте, но делал это нарочито туго и с трудом, хмурил брови в раздумьях, то и дело ошибался в чертах и бормотал что-то себе под нос, изображая мучительный процесс запоминания. А ночью, когда мать засыпала, он тихонько поднимался и при свете луны и звёзд принимался беззвучно выводить и заучивать знаки на земле, на обрывках старого бамбука и черепках, доводя глаза до красноты и рези, но всё равно не соглашаясь остановиться.

Семья в деревне жила бедно, по вечерам в домах не зажигали ни ламп, ни лучин — был лишь слабый, тусклый свет луны и звёзд. И Цзян Цзыя усердно учился при этом скудном сиянии, не желая упускать ни единого мгновения. Он прекрасно понимал, что возможности учиться грамоте выпадают ему крайне редко, и только непрерывное ночное повторение поможет вбить знания в самую глубь памяти.

В углу хихины громоздились выброшенные соседями обломки бамбука, щепки и черепки глиняной посуды. То, что другие считали мусором, Цзян Цзыя почитал за величайшее сокровище: он подбирал всё это, тщательно протирал и складывал у циновки. По ночам, когда лился лунный свет, он усаживался в углу и угольком выводил на осколках глиняной посуды то, чему научился днём, строка за строкой, снова и снова, пока не заучивал до полного автоматизма.

Иногда луну заволакивали тучи, и в доме становилось совершенно темно — тогда он закрывал глаза и мысленно прописывал форму знаков и повторял каноны, черта за чертой, фраза за фразой, отчётливо и ясно, не допуская ни единой ошибки.

Шло время, жара сменялась холодом, травы и деревья проживали очередной цикл увядания и цветения, и Цзян Цзыя исполнилось шесть лет.

В деревне существовал старый обычай: по достижении шестилетнего возраста мальчики могли поступать в деревенскую школу, чтобы учиться грамоте и читать каноны у учителя, постигая основы этикета и древних текстов. Там не гнались за учеными степенями, стремясь лишь к тому, чтобы дети понимали суть вещей и не вырастали слепыми невеждами. Долго размышляя об этом, Цзян-ши наконец скрипила сердце и решила отправить Цзян Цзыя в школу.

Она прекрасно понимала, что ее ребёнок одарен свыше, а его разум далеко превосходит сверстников. Если держать его взаперти в хижине и на полевых межах, это станет для него несправедливым бременем. И хотя в школе тоже хватало распрей, холодных взглядов и притеснений, но если удастся почерпнуть там толику истинных знаний и выучить ещё больше древних письмен, у него в будущем появится опора под ногами, даже находясь на самом дне общества.

Вот только семья жила в крайней нищете: не было ни куска шелка, ни мерки зерна. О приличной плате учителю не стоило и мечтать — даже целая новая одежда или пара матерчатых туфель, не показывающих пальцы ног, были им не по карману.

В ту ночь при тусклом свете Цзян-ши перерыла все сундуки и нашла лишь выцветшую добела старую короткую куту, всю в заплатах. Она принялась аккуратно латать старые плетеные сандалии, делая мелкие, частые стежки; её пальцы до боли и красноты искололо иглами, но она не останавливалась.

Цзян Цзыя сидел рядом, наблюдая, как мать шьет при тусклом свете, и тихо промолвил:

— Мама, я могу не ходить в школу. Я останусь дома с мамой и буду продолжать писать на земле.

Цзян-ши подняла голову, и в глубине её глаз светился мягкий, но непоколебимый свет:

— Глупый ребёнок, разве бывает так, чтобы шестилетний мальчик не ходил в школу? Пусть ты и смыслённый, но учитель знает в сто раз, в тысячу раз больше мамы. Только отправившись в школу, ты сможешь увидеть широкий мир и постичь более глубокие истины.

— Но у нас нет платы для учителя, нет зерна, нет новой одежды, — тихо возразил Цзян Цзыя.
— Учителю это не понравится, а люди станут смеяться.

Пальцы Цзян-ши замерли, веки защипало:

— Пусть смеются — нам какое дело? Пусть издеваются — мы стерпим. Ты должен запомнить одно: мы бедны духом не падаем, наша одежда в дырах, но сердца целы. Не спорь ни с кем, не борись, не показывай и доли своего ума, просто тихо-мирно читай книги. Только стерпев временные унижения, можно обрести мир на всю жизнь.

Цзян Цзыя тихо посмотрел на мать и легко кивнул:

— Я понял, мама. Я буду терпеть, не стану шуметь, привлекать к себе внимание или навлекать беду.

Цзян-ши положила перед ним починенную короткую куртку и сандалии, тихо вздохнув:

— Горько тебе приходится, сынок, с самых малых лет тебе нужно терпеть и скрывать куда больше других.

— Не горько, — Цзян Цзыя взял старую куртку и прижал к груди, и голос его звучал ровно и спокойно. — Пока мама рядом, мне совсем не горько.

На следующий день, еще до рассвета, Цзян-ши встала и сварила маленькую мишку самой грубой пшенной каши, а из остатков скудного сухого пайка отломила небольшой кусок пшеничной лепёшки, тщательно завернула его в промасленную бумагу и сунула за пазуху Цзян Цзыя.

— Придешь в школу — поменьше говори, побольше сиди тихо. Когда учитель объясняет урок, только слушай, не вырывайся отвечать первым, не высывайся и ни с кем не затевай споров, — снова и снова наставляла она, поправляя на мальчике потрепанный воротник. — Проголодаешься — съешь лепешку тайком, захочешь пить — напьешься холодной воды. Если кто-то станет обижать — уходи от них, не давай сдачи и не огрызайся, во всем полагайся на маму.

— Я понял, мама. — Цзян Цзыя прижал к груди сверток из промасленной бумаги и взвалил на спину маленький бамбуковый коробок, который мать наскоро сплела из травы. Внутри лежали несколько подобранных им осколков бамбука и один обугленный уголёк — вот и все его школьные принадлежности.

В заплатанной короткой куртке, в матерчатых сандалиях с протертыми мысками, с обтрепанными краями одежды и продуваемой всеми ветрами обувью, его маленькая фигурка казалась хрупкой и тощей. Шагая по деревенской тропинке рядом с детьми, одетыми в опрятные тканевые одежды, несшими полноценные бамбуковые тубусы для свитков и завернутую еду для учителя, он выглядел до крайности неуместно и убого до боли в глазах.

Деревенская школа располагалась в большой глинобитной мазанке на окраине селения. Внутри стояло несколько рядов старых деревянных парт, земляной пол был тщательно утрамбован и выровнен, а из окна падал свет — просто, но вполне пригодно для тихих занятий.

Учителя звали по фамилии Сун, ему уже перевалило за пятьдесят. С сединой на висках и в простой одежде, с мягким выражением лица и глубоким, ясным взглядом, он в молодости учился в городской академии, но, разочаровавшись в смуте и междоусобицах, удалился в деревню обучать детей. Он не искал ни славы, ни чинов, желая лишь обучить деревенских

ребят грамоте и основам разума, чтобы они могли как-то перебиваться.

Дети собирались один за другим — в основном это были отпрыски семей с достатком чуть выше среднего: одетые в чистую одежду, они по очереди подходили к Учителю Суну, почтительно протягивая кто зерно, кто отрезки ткани, и отвешивали поклоны с почтительными приветствиями.

И только Цзян Цзыя одиноко подошел к углу, молча опустил на пол свой коробок и сел, понурился голову. У него не было ни платы для учителя, ни подарков, ни приветственных слов, он даже не смел поднять глаза на наставника, лишь тихонько съехал в самом незаметном углу, словно никому не нужная дикая травинка у стены.

Остальные дети тотчас покосились на него, принимаясь перешептываться, а в их взглядах промелькнули презрение, насмешка и безразличие.

— Поглядите на этого дурачка из семьи Цзян, весь в лохмотьях, даже нормальной обуви нет.

— Пришел с пустыми руками, учителю даже горсти зерна не принес, и совести хватает являться на учебу.

— Слышал, его мать настолько нищая, что не может купить даже риса, куда уж ей знать про плату учителю.

— Тупой до ужаса, целыми днями только и делает, что клювом щелкает, только зря время учителя тратить пришел.

Все эти слова до единого долетали до слуха Цзян Цзыя, но он словно ничего не слышал. Опустив голову, он сидел без движения, слегка положив пальцы на колени, а его взгляд оставался спокойным — в нем не было ни печали, ни радости, ни гнева, ни досады, будто все эти насмешки и презрение не имели к нему никакого отношения.

Учитель Сун окинул класс равнодушным взглядом и, разумеется, заметил Цзян Цзыя в углу. Заметив, что хоть ребёнок одет в лохмотья и худ с лица, спина его держалась прямо, осанка была безупречной, он сидел тихо, без капризов, держась с достоинством, а под маской притворной тупости в нем угадывался редкий и чистый дух, какого не встретишь у обычных бестолковых детей.

Наставник едва заметно качнул головой, но ничего не сказал, лишь спокойно произнес:

— Начинаем первые занятия. Каждый сидит на своем месте, шуметь запрещено, баловаться запрещено, притеснять соучеников запрещено.

Дети дружно отозвались, и лишь Цзян Цзыя, опустив голову, хранил молчание, только тихо

слушая.

Дневные занятия сводились к заучиванию простых знаков и чтению нехитрых рифмованных строчек. Обычные дети запинаясь и путались, то и дело отвлекаясь и балуясь, и лишь Цзян Цзыя слушал ушами и впитывал сердцем, запоминая всё с первого раза. Стоило учителю прочесть строку единожды, как форма знаков, их звучание и смысл навсегда запечатлевались в его голове.

Но он крепко помнил наставления матери: ни разу не поднял глаз, ни разу не вызвался ответить первым, не показывая и тени сообразительности, напротив, изображая растерянность, заторможенность и непонимание. На фоне шаловливых детей он выглядел еще более тупым и неповоротливым.

Перерывы между уроками становились для Цзян Цзыя самым тяжелым испытанием.

Несколько зажиточных и избалованных с детства мальчишек давно приметили этого оборванного и неразговорчивого белую ворону. Собравшись бандами, они подступили к нему с нескрываемой злобой и насмешками на лицах.

Заводилой был мальчик по имени Чжан Фу, сын деревенского богача. Одетый в яркие одежды и привыкший вольготно себя чувствовать, он, завидев такую нищету и смирение Цзян Цзыя, тут же воспылал желанием поизмываться над ним вволю.

— Эй, тупица Цзян, ты даже плату учителю не принес, с чего вдруг решил, что достоин учиться здесь?! — Чжан Фу упер руки в боки и свысока прикрикнул: — А ну катись отсюда вон, нечего пакостить тут!

Цзян Цзыя опустил голову, не издавая ни звука, точно изваяние из глины.

— Ты что, оглох?! Онемел?! — другой мальчишка шагнул вперед и толкнул его в плечо. Цзян Цзыя, будучи хилым и тощим, от сильного толчка пошатнулся и спиной врезался в глиняную стену с глухим стуком.

Он выпрямился, по-прежнему глядя в пол, не оказывая сопротивления, не оправдываясь, не проливая слез и не гневаясь.

Чжан Фу от этого только сильнее вошел во вкус. Махнув рукой приятелям, он скомандовал:

— Раз он языком не владеет, преподадим ему урок! Пусть знает, что школа — не место для всякой голытьбы!

Они навалились толпой: один принялся рвать его ветхую одежду, другой пинать порванные матерчатые туфли, а третий протянул руку и выхватил из-за пазухи сверток из промасленной

бумаги. Разорвав его, они вытряхнули на землю небольшой кусок сухой пшеничной лепешки, которую тут же принялись яростно топтать ногами, превращая в грязь и смешивая с пылью.

— Моя лепешка... — еле слышно прошептал Цзян Цзыя. В его глазах на миг промелькнула едва заметная рябь, но он по-прежнему не поднял головы и не попытался дать отпор.

— Разве нищим полагается есть такую еду? — хохотнул Чжан Фу и ударом ноги отбросил в сторону бамбуковый короб. Рассыпавшиеся осколки бамбуковых планок покатались по полу, и дети принялись топтать их ногами, с хрустом ломая. И без того хрупкие дощечки разлетелись на куски, а выцарапанные им ночью мелкие письма были стерты и испорчены окончательно.

Цзян Цзыя опустился на корточки, собираясь поднять обломки, как вдруг кто-то ударил его ногой в плечо. Он рухнул ничком на утрамбованный земляной пол, щекой задев неровную поверхность, оставив на коже тонкий красный след. Кто-то воспользовался моментом, зачерпнув в горсть грязи и камешков, и швырнул в него. Камешки больно ударили в спину, плечи и голову.

— Прекратите.

Раздался мягкий, но полный власти голос. Учитель Сун неизвестно когда появился у входа: лицо его было спокойным, а взгляд скользил по присутствующим.

Чжан Фу и остальные мгновенно поостыли, испуганно отпрянув и больше не смея бесчинствовать, но всё ещё бросали оттуда злобные и презрительные взгляды на распростертого на полу Цзян Цзыя.

Цзян Цзыя медленно поднялся. Весь в пыли, с разорванными полами одежды, с поломанными планками в коробке, превращенной в грязь лепешкой, покрасневшей щекой и растрепанными волосами, он по-прежнему молчал. Молча наклонившись, он принялся по одному подбирать обломки бамбука и складывать их в коробок. Движения его были медленными, а выражение лица оставалось невозмутимым — будто все только что перенесенные унижения, топтание ногами и насмешки были лишь дуновением ветерка, не оставившим и следа.

Учитель Сун смотрел на него, и в его глазах читались не только жалость, но и глубокое изумление.

<http://bllate.org/book/19338/1890981>